*Сергей Есенин: Личность. Творчество. Эпоха / ИМЛИ РАН. М., 2016. С. 67–87.*

*Н.М. Солнцева (Москва)*

**Поэтическое евразийство С. Есенина и литературный контекст**

*В статье описана интерпретация С. Есениным проблемы «Восток – Запад». Евразийство Есенина рассмотрено как эмоциональное восприятие симбиоза этносов, не выходящее за пределы поэтической рефлексии.*

***Ключевые слова:*** *Азия, Блок, Бунин, Васильев, евразийство, Есенин, Кусиков, Платонов, Пушкин, Туркестан, Хлебников, Ширяевец, этнокультура.*

Вопрос о восприятии Востока в поэзии С. А. Есенина привлекал и привлекает к себе целый ряд специалистов. Конечно, прежде всего хочется назвать исследования П. И. Тартаковского: «Русская и советская поэзия 20-х – 30-х годов и художественное наследие народов Востока» (1977), «Свет вечерний шафранного края…(Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина)» (1981), «Русские поэты и Восток: Бунин. Хлебников. Есенин» (1986). За последнее время в ежегодных сборниках научных трудов, подготовленных ИМЛИ РАН, Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина, РГУ им. С.А. Есенина были опубликованы работы, в которых «восточная» тема представлена в многообразии коннотаций, акцент сдела как на этническом, так и на литературном контекстах. Это статьи Л. Ф. Алексеевой («Восток и восточная культура в поэзии С. А. Есенина», 2006), О. А. Казниной («Евразийский комплекс идей в творчестве Есенина», 2007), Л. В. Ершовой («Образ Востока в есенинских “Персидских мотивах”», 2009), Х. Аташбараба («“Персидские мотивы” Есенина в Иране», 2011), У Дань Дань («Есенин и китайский поэт Ай Цин», 1912), А. Голкара и Е. Ю. Дрожжиной («Дыханье чудного Востока в поэзии И. А. Бунина и С. А. Есенина», 2015) и др. Осмысление художественной интерпретации Есениным восточной этнокультуры не может не происходить в русле постоянной в есениноведении темы русского национального характера. Ей посвящены книги О. Е. Вороновой, Н. И. Шубниковой-Гусевой. В ней фокусируются положения и выводы опубликованных в тех же ежегодных сборниках статей Вороновой («Сергей Есенин как национальный архетип», 2006; «Диалог ментальностей: Есенин в зарубежных исследованиях первого десятилетия ХХI века», 2011), Н. Н. Бердяновой («Концепция национального характера в художественной прозе С. А. Есенина (Повесть “Яр”)», 2006), М. В. Скороходова («Есенин как русский национальный поэт», 2009), Т. В. Федосеевой («С. Есенин и А. Ширяевец: воплощение национального идеала в творчестве 1910-х годов», 2010) и др.

Перед Есениным, в отличие от А. М. Горького или И. А. Бунина, не стоял вопрос об азиатских чертах в русском национальном характере. Русь «затерялась» «в Мордве и Чуди» («В том краю, где желтая крапива…», 1915 [I, 68][[1]](#endnote-1)), но не в Азии. Слова о Москве – «дремотной Азии» сопровождаются уточнением «Опочила на куполах» [I, 167] («Да! Теперь решено. Без возврата…», 1922), и эти строки коррелируют со строками А. В. Ширяевца «− Сон вековой! Как деды и отцы, / Застыли внуки в скуке богомольной»[[2]](#endnote-2) (166) («Туркестан» <1924>). Слова о России − «азиатской стороне» [I,170] («Снова пьют здесь, дерутся и плачут…», <1922>) не исчерпывают глубины этнологии Есенина. Оба примера передают скорее расположенность к созерцательности, в них акцентируется внимание на культурной особости, которая и Н. А. Клюева побудила назвать Россию Белой Индией. Кроме того, в «Да! Теперь решено. Без возврата…» и «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…» (опубликованы в берлинском сборнике 1923 г. «Стихи скандалиста») могла выразиться рефлексия Есенина (поэт вылетел в Европу 10 мая 1922 г.). Возможно, в обоих стихотворениях есть скрытый вызов Европе, для которой Россия – Азия. Мы видим в них рецепцию, осознанную или бессознательную, «Скифов» (1918) А. А. Блока, в которых наше азиатство – ответ Европе в пору Первой мировой войны. Блок записал 11 января 1918 г.: «<…> *мы скинемся азиатами*», «Мы – варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары»[[3]](#endnote-3). Интонационно, по темпераменту этой записи близки строки из письма Есенина И. И. Шнейдеру от 21 июня 1922 г. из Висбадена: «Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы» [VI, 137 − 138][[4]](#endnote-4). Что же касается души-Шехеразады из «Ключей Марии» (1918), то это не более чем поэтический образ.

Евразийство Есенина проявилось на эмоциональном уровне, Восток привлек его поэтически, новизной впечатлений и образов. В окружении Есенина были поэты со своей спецификой восприятия Востока. У евразийца Клюева отмечаем религиозно-интеллектуальную коннотацию. У евразийца В. Хлебникова – социально-этнографическую. Хлебников весной или летом 1921 г. (так в его записной книжке) передал Есенину свои рукописи: «Ночь в окопах», «Труд», «Мулла» (поэма «Ночь в окопе», стихотворение «Труднеделя», поэма «Труба Гуль-муллы» − первоначальное название поэмы «Тирана без ТЭ», датированной концом 1921, 1922). Однако влияния «персидской» темы Хлебникова на Есенина мы не видим. С. А. Клычкова-переводчика Восток привлек (уже после гибели Есенина) как кладезь национального эпоса. У Ширяевца сходная с есенинской поэтизация Востока. А. Б. Кусиков – евразиец по ментальности.

В воспоминаниях (январь 1926) Кусиков назвал свои отношения с Есениным «долгой, почти неразрывной дружбой»[[5]](#endnote-5). Отношениям поэтов посвящена статья Т. К. Савченко «Сергей Есенин и Александр Кусиков»[[6]](#endnote-6).

Пересечение в их поэзии восточных мотивов очевидное. К слову, газета «Руль» сообщала о предстоящем вечере поэтов 1 июня 1922 г., на котором Есенин читает «Пугачева» (1921), Кусиков – «То, чего нет в Коране»; в обоих произведениях есть тема восточных этносов. У армянина Кусикова (по версии Г. Маквея – черкеса[[7]](#endnote-7)) прозвучала тема сочетания кавказской и русской культур, что, возможно, объясняется его воспитателями – черкесами и русской няней, а также, несомненно, обстоятельствами зрелых лет: «В черной бурке пещерных легенд, / В папахе взъерошенных мыслей, / Это я, / С гор снесенный потоком / В хор гранитных сирен, / Преломлялся в витринах Тверской…»[[8]](#endnote-8) (335). Кусиков принципиально отличается от цельного в своей культурно-национальной идентичности Есенина. Лирический герой Кусикова – черкес-москвич, горец с Арбата (Кусиков жил в Большом Афанасьевском переулке, д. 30).

Возможно, какие-то мотивы в поэзии того и другого возникали в результате взаимного интереса к образотворчеству. Например, прозвучавшее у Кусикова в 1918 г. «Нежит небо в шарф шафрановый…» (325) – и 1924 г. есенинский «Свет вечерний шафранного края» [I, 257]; в 1919 г. у Кусикова о тучах сказано: «Разлейтесь свинцовой песней, / Вам никого не жаль, // Вам ничего не надо» (333) – и есенинское «Мне ничего не надо. / Мне никого не жаль»[[9]](#endnote-9) [IV, 186] в «Грубым дается радость…» (1923); строка Кусикова 1921 г. «Где дыни лун златят июль бакши» (349) – и «Ночь, как дыню, / Катит луну»[[10]](#endnote-10) (II, 115) в «Балладе о двадцати шести» (1924); в 1922 г. Кусиков пишет, что его двадцать пятая весна – «осенняя» (1922), Есенин также ощущает возраст в категориях времен года: «О, возраст осени!» [1, 191] в «Пуская ты выпита другим…» (1923) и др. Есенин – инок и хулиган, Кусиков в поэме «Искандар-намэ» (1921) пишет: «Обо мне говорят, что я сволочь, / Что я хитрый и злой черкес», но он же «кроткий инок», «мюрид» (354, 355). Наконец, сознание того и другого укоренено в естественном мире.

Кусиков пребывал в двух этнокультурах. Как пишет М. А. Штейнман, он балансировал «на грани двух вероисповеданий, двух ментальных моделей»[[11]](#endnote-11). Для Кусикова вопрос адаптации – насущный, и если в 1919 г. появились строки «Разве арба проскрипит по Арбату? / Разве душу порадует ржаньем табун? / В аул бы родимый, к вершинам горбатым… / О, мысль на чужбине – крылатый скакун» (333), то в 1921г. – «Я на Арбате, / Пропахшем хлебным квасом, / Учуял скрип арбы, / Тяжелый след быка… / Москва, Москва, / Ты Меккой мне, Москва, / А Кремль твой – сладость черная Каабы» (359). Наконец, он сознает себя истинным евразийцем: «Кубань и Волга, Енисей и Терек / В меня впадают как один поток» (349).

Восточная ментальность Кусикова красноречива в пейзажах: «Месяц-пастух запрокинул свой красный башлык, / Возвращаясь в аул на пробудную встречу птиц» (331) и др. Она есть в его вопросе, победит Иран или Туран (335). Его евразийство особенно проявилось в религиозной теме, что объясняется семейными ценностями: «В детстве он посещал местную мечеть и знал мусульманские молитвы. Его сестры, напротив, были христианками»[[12]](#endnote-12). По сравнению с Есениным в религиозных интенциях Кусиков настойчив. Если в «Персидских мотивах» (1924–1925) допущен корректный юмор по отношению к двум правилам ислама («Магомет перехитрил в Коране, / Запрещая крепкие напитки» [1, 267] в «Быть поэтом – это значит то же…», 1925; «Дорогая, с чадрой не дружись» [1, 258] в «Свет вечерний шафранного края…», 1924), то сквозной мотив поэзии Кусикова – «Священный Коран» (325), но в ней есть христианская и исламская молитва, «Отче наш», «Песня Песней», Библия и ночь Аль-Кадр. Кусиков интимно соединяет религии в один поток, что отличает его от религиозного синтеза как социокультурного проекта Хлебникова («Индо-русский союз», 1918; «Азы из Узы», 1919–1922). У Кусикова встречаем: «Зачитаю душу строками Корана, / Опьяню свой страх Евангельским вином. – / Свою жизнь несу я жертвенным бараном / И распятым вздохом, зная об ином » (334), что немыслимо в поэзии Есенина. Кусиков написал «Коевангелиеран» (1918–1920) − «поэму причащения». Контаминация говорит сама за себя. Поэт в ней – «христианский иноверец», его вера едина: «Звёздный купол церквей, / Минарет в облаках, / Звон дрожащий в затоне, / И крик муэдзина − / Вездесущий Господь, / Милосердный Аллах: / ЛЯ-ИЛЛЯГУ-ИЛЯЛ-ЛА[[13]](#footnote-1)\*, / И во Имя Отца, / Святого Духа / И Сына» (343). Как отметил В. Л. Львов-Рогачевский: «Две культуры, два мира, христианский и мусульманский, странно сочетали “полумесяц и крест”, Коран и Евангелие и породили в одной груди “две молитвы” и “два сердца” и создали то неожиданно звучащее слово “Коевангелиеран”, которое осветило особенный, индивидуальный оттенок поэзии Александра Кусикова»[[14]](#endnote-13). Кусиков активно использовал исламские образы. Свою жизнь он ассоциировал с мечой Мухаммеда («Джульфикар», 1921); крылатый конь, на котором Мухаммед совершил полёт из Мекки к Иерусалиму, порождает поток философских ассоциаций («О время, грива поределая, / Я заплету тебя стихом» и др.), который венчается тезой Корана: «Нет в мире Бога, кроме Бога» (342) («Аль-Баррак», 1920).

Таким образом, евразийство Есенина отлично от евразийства Кусикова, как и от евразийства П. Н. Васильева, воспринимавшего себя русским азиатом, но без рефлексий, окрасивших поэзию Кусикова. Если Есенин узнавал культуру и быт восточных народов, Васильев ее знал. Кроме того, он, как есенинский Пугачев, в азиатах чувствовал нечто близкое своей ментальности. Скуластый, он полагал, что в зауральских русских эта черта – следствие смешения русской и азиатской пород. В стихотворении «Азиат» (1928) он обращался к своему спутнику-азиату: «Хоть волос русый у меня, / Но мы с тобой во многом схожи: / Во весь опор пустив коня, / Схватить земли смогу я тоже. / Я рос среди твоих степей, / И я, как ты, такой же гибкий»; для обоих женщина-европеянка недоступна, а вот в «родном ауле» предгорий Алтая обоих встретит «степная девушка» (297, 298).

Пример поэтизации Востока – стихотворения Ширяевца («Край солнца и чимбета (Туркестанские мотивы)», 1919; «Бирюзовая чайхана», 1924), с 1905 г. жившего в Туркестане. История отношений двух поэтов изучается. Благодарю С. И. Субботина и Ю. Б. Орлицкого за предоставленные тексты и сведения биографического, библиографического содержания. 12 или 13 мая 1921 г. Есенин прибыл в Ташкент, его встретил Ширяевец со своей невестой М. П. Костёловой; последовало общение поэтов у Ширяевца, долгие разговоры, трогательные отношения с матерью Ширяевца. 3 июня Есенин отбыл в Москву. С конца августа 1922 г. Ширяевец жил в Москве.

Как отметил Тартаковский, в стихах того и другого «сходство поразительное»[[15]](#endnote-14). Образы туркестанских стихотворений Ширяевца коррелируют с образами «Персидских мотивов». Прежде всего об этом говорит восточный колорит. В цикле Есенина помимо имен поэтов-персов и иранских, иракских, турецких топонимов есть упоминание Корана, Магомета, пери, идет речь о красном чае, чайхане и чайханщике, чадре, полтумане, хне, шальварах. Лирику Ширяевца наполняют азиатские персонажи, понятия, уличные сценки, пейзажи. Он внутри привычного ему мира. Многое упомянуто, описано, зафиксировано, оформлено в самоценную азиатскую открытку, жанровую или пейзажную, по насыщенности близкую верещагинским полотнам. Среди образов и Аллах, Азраил, Коран, Мекка, намаз, бирюза пророка Сулеймана, мечети, минареты, медресе, калиф, и арча, арыки (их Есенин называл ручьями), дутар, чайхана, кок-чай, карагач, урюк, чимбет, «сартёнок смуглый» (169), старик на ишаке, чайханщик Ахмеджан.

Есенин в Туркестане − неофит-созерцатель. По воспоминаниям, он «во все вглядывался, чтобы запомнить»; впечатляло зрелище с террасы «какого-то ош хане», и «долго не могли заставить Есенина приступить к еде»[[16]](#endnote-15). Есенин дивился реалиям, которые встречаем в лирике Ширяевца и которые также привлекали его в Баку. Кавказ, как и Туркестан, для Есенина – Восток («А на Востоке / Здесь / Их было / 26» в «Балладе о двадцати шести», 1924 [II, 116]), каким он был для Пушкина и Лермонтова. Ф. В. Лихолетов считал, что «Персидские мотивы» − плод вдохновения от «неба и земли Туркестана»[[17]](#endnote-16). Не только персидские поэты (как отметил В. Белоусов, Есенин узнал о них до 1924 г.[[18]](#endnote-17)) и кавказские впечатления (что бесспорно: две области Азербайджана остались в составе Персии; кроме того, в начале сентября 1920 г. в Баку прошел съезд народов Востока; знакомство с П. И. Чагиным и его рассказы о патриархальной Азии; знакомство в Баку со знатоком Средней Азии В. П. Поповым и проч.), но и ташкентские, самаркандские впечатления породили образы «Персидских мотивов». По воспоминаниям, «Есенина манил не “Ташкент – город хлебный”, а Ташкент – столица Туркестана. Поездку Есенина в Туркестан следует рассматривать как путешествие на Восток, куда его очень давно, по его словам, тянуло <…> жадно на все глядел, как бы впивая в себя и пышную туркестанскую природу, необычайно синее небо, утренний вопль ишака, крик верблюда и весь тот необычный для европейца вид туземного города с его узкими и безглазыми домами, с пестрой толпой и пряными запахами»[[19]](#endnote-18).

Манило то, что привлекало наблюдателя со стороны. Есенин приехал в Ташкент в праздник уразы, когда после поста мусульмане «нагромождают на стойках под навесами у лавок целые горы “дастархана” для себя и гостей: арбузы, дыни, виноград, персики, абрикосы, гранаты, финики, рахат-лукум, изюм, фисташки, халва…»[[20]](#endnote-19). Направлявшийся в Афганистан Ф. Ф. Раскольников познакомился с Есениным в чайхане на базарной площади, где тот «с огромным аппетитом ел дымящийся плов с бараниной, запивая зеленым чаем из широкой, как маленькая миска, пиалы»[[21]](#endnote-20). Сравним с бакинскими впечатлениями: «Наша прогулка завершилась посещением Кубинки, шумного азиатского базара. Мы заглядывали в так называемые “растворы” – лавки, в которых крашеные хной рыжебородые персы торговали коврами и шелками»[[22]](#endnote-21). Конечно, изображение восточного базара есть в лирике Ширяевца; например: «А рядом жизнь – клокочущий базар, / Торговцев выкрик, запах пряной дыни» (167). Есть оно и в «Тиране без Тэ» (1921,1922) Хлебникова, «Ярмарке в Куяндах» (1930) Васильева. Национальное многоцветие восточного базара есть в воспоминаниях А. В. Верещагина («Дома и на войне. 1853 – 1881», 1886), как есть описание ташкентского караван-сарая в очерках В. В. Верещвгина («Из путешествия по Средней Азии», 1883). Но нет восточного базара в «Персидских мотивах». Нет ишаков, верблюдов и еще многого из того, что привлекло внимание Есенина. Нет пышной природы, а Ширяевц создавал пейзажную лирику («Голодна степь», «Картинка», «Весеннее» и др.). Нет улочек туземного города, столь привлекательных для европейца. Так, А. А. Кауфман («По новым местам (Очерки и путевые заметки). 1901 – 1903», 1905) противопоставил безотрадные картины русских городов − Благовещенска, Красноярска, Омска, Оренбурга – отрадным картинам узбекских городов с их садами, широкими аллеями, чинарами и проч. По воспоминаниям, Есенин видел такие «улочки, словно вынырнувшие из столетий», видел «тысячи людей в пестрых, слепящих, ярких тонов халатах», «чайханы, убранные пестрыми коврами», «местных узбеков, и приезжих таджиков, и чарджуйских туркменов в страшных высоких шапках, и преклонных лет мулл в белоснежных чалмах, и смуглых юношей в золотых тюбетейках»[[23]](#endnote-22). Но в «Персидских мотивах» нет ни муллы, ни многолюдья, ни юношей в золотых тюбетейках. Восточный колорит в «Персидских мотивах» – прежде всего повод для элегического настроения. Е. Г. Макеева вспоминала: «<…> на вопрос, понравилось ли ему на узбекском празднике, Есенин неопределенно пожал плечами и ответил в том смысле, что об этом трудно судить с первого впечатления, но во всем виденном чувствуется какая-то своя жизнь и своя очень живая и естественная радость»[[24]](#endnote-23). Своя жизнь, не его.

Туркестан Ширяевца подробен. Казалось, таким его должен был показать Есенин. Особенно если учесть его, как и Н. С. Гумилева, интерес к восточным миниатюрам с их предметной живописностью, густотой этнических деталей. Примечательный факт из бакинских наблюдений: «Наконец мы зашли к одному старику, известному любителю и знатоку старинных миниатюр и рукописных книг. Он любезно принял русского поэта, угощал нас крепким чаем, заваренным каким-то особым способом <…> Уже под вечер мимо лавки прошел, звеня бубенцами, караван из Шемахи или Кубы, заметно похолодало и наступило время закрывать лавку, а мы все сидели и рассматривали удивительные миниатюры, украшавшие старинную рукопись “Шахнаме”»[[25]](#endnote-24). У Ширяевца – плоть Востока. У Есенина – атмосфера. Известен отзыв Есенина на «Край солнца и чимбета»: «Пишешь ты очень много зрящего, особенно не нравятся мне твои стихи о востоке. Разве ты настолько уж осартился или мало чувствуешь в себе притока своих родных почвенных сил?» [VI, 113].

Восточная поэзия Есенина и Ширяевца разнится и в частностях. Восток Ширяевца ярок: «лиловые выси» (166), чайхана «бирюзовая» (166), небо «знойно-сине» (168) и цветёт «бирюзою и лазурью» (169), «Небо – сплавы сапфира» (167), «А в небе бирюза, и мысли бирюзовы!» (170), «Дни голубые в золотой оправе / И ночи синие с великолепьем лунным!» (171), «бархатно-зелёный» тал и «зеленеющие крыши» (168), «Посевов изумрудные квадраты» (169), виноград «янтарно-хризолитовый» (170), «заката рубины» (172), желтая вода Аму-Дарьи, «Ночь надела неспешно сапфирово-тёмный халат» (172), «черный чимбет» (169). Это не знающий полутонов мир М. С. Сарьяна, Г. Б. Якулова, Н. К. Рериха. В «Персидских мотивах» есть «шафранный край», «телесная медь» [I, 257] и «листьев медь» [I, 262], «Месяца желтые чары» [I, 273], «сиреневые ночи» [I, 272], «лазурь», «Воздух прозрачный и синий» [I, 259], «голубая» страна [I, 261, 275], «Голубая родина Фирдуси» [I, 265]. Голубой доминирует над интенсивным синим, экспрессия красок смягчена «лунным светом» [I, 257], «золотом холодным луны» [I, 261], «лунным золотом» [I, 262], что сближает восточный пейзаж с рязанским или московским и приглушает экзотику ради глубоко личных мотивов с их русской ментальностью. Наше замечание подтверждает и разговор Лихолетова с Есениным, состоявшийся уже в конце пребывания в Туркестане. На вопрос художника, смог бы Есенин описать Восток, туркестанскую природу, поэт «отрицательно закачал головой и сказал, что не представляет себе этого, что восточные стихи Ширяевца, хоть они и хороши, все же слабее, как ему кажется, тех, где русская душа поэта рвется из каждого слова»[[26]](#endnote-25).

Остроту туркестанскому миру Ширяевца придает ощущение онейричности. Тут и кукнар (наркотик), и «пьян от крепкой анаши» (166), и «маки дышат пьяно» (171). Вспоминаются «Случай» (1919), «Курильщик ширы» (1921), «Ночи запах…» (1921) Хлебникова. В «Персидских мотивах», напротив, есть признание: «Пьяный бред не гложет сердце мне» [I, 248]. Воспевание хмельных ароматов Востока («Я сегодня пью в последний раз / Ароматы, что хмельны, как брага» [I, 265]; ср. с фразой из воспоминаний В. И. Вольпина: «Цветы в это время одуряюще пахнут» [[27]](#endnote-26)) скорее говорит о витальном содержании есенинской лирики.

В «Ем сочный виноград янтарно-хризолитовый…» Ширяевца есть и чайханщик за молитвой, и смутившая его девушка с «Глазами лукавыми, без робости и страха» (170), что сближает стихотворение с «Улеглась моя былая рана…» (1924) Есенина. Ширяевец поэтизирует девушек Востока: в их глазах – его Мекка, в их слове – Коран и т.п. Но он не влюблен, и в нем нет влечения есенинского лирического героя к восточным девам, нет и любовного витализма, который есть у Есенина: «Жить – так жить, любить – так уж влюбляться. / В лунном золоте целуйся и гуляй» [I, 262].

Есенин упоминает средневековых персидских поэтов, но Восток Ширяевца весь пронизан историей: и «Месяц четок, как был при Чингисе» (166), и видятся полчища Тимура, есть и «потускнелые браслеты старинные» (174), есть и «девушка в древней степи» (167) и т.д. В Самарканде Есенин знакомился с памятниками истории. Как вспоминала Макеева: «Он хотел лишь осмотреть старинные архитектурные ансамбли, ступить на древнюю землю Согдианы», «он оторваться не мог от знаменитых башен и мавзолеев, от древнего Гур-эмира и плит Регистана; конечно же, кто-то расказал легенду о Биби-ханым[[28]](#footnote-2)\* и еще какие-то предания, связанные с зодчими и мастерами старого Самарканда. Бродили по улочкам старого города, любовались старыми карагачами, которые именно здесь, в Самарканде, поразили Есенина своей формой и густой зеленью»[[29]](#endnote-27). Сравним с бакинскими впечатлениями: «Но однажды с утра мы отправились на прогулку по старым кварталам Баку, еще сохранившим восточный облик. Узкие улочки Бакинской крепости, Ханский дворец, высокие минареты восхищали Есенина. Он был увлечен Востоком и сожалел, что мало читал о его истории, плохо представляет себе сущность мусульманства. Расспрашивал меня про суннитов и шиитов, про жестокую резню и самоистязания в священный день Шахсей-вахсей, которые я видел в 1922 году. Потом мы вышли к Девичьей башне и поднялись на ее верхние ярусы»[[30]](#endnote-28). Нет в «Персидских мотивах» ни Согдианы, ни Биби-ханум, ни старого города, ни крепости, ни дворца.

Сходство восточного мира в поэзии Есенина и Ширяевца скорее сколько в настроениях. Туркестан дароносен. Ширяевцу он дает вдохновение, силы, забвение снегов и осенних туманов, Есенину − исцеление, ему там хорошо, он воспевает и дев, и розы ( ср.: в петлице у него желтая роза, он на нее «бережно посматривал, боясь, очевидно, ее смять»[[31]](#endnote-29); перед отъездом из Ташкента дарит Макеевой розы). Оба поэта Восток слышат. У Ширяевца выкрик с минарета «призывно-покорный» (166). Он упоминает дутар, Есенин – «флейту Гассана»[I, 260]. У Ширяевца листья «шуршат, шелестят, шелестят» (172), у Есенина − «Шепот ли, шелест иль шорох» [I, 260]. По воспоминаниям Макеевой, знакомый ее отца Азимбай «нараспев» читал Есенину стихи на узбекском и, «видимо, на фарси», Есенин «в ответ прочел что-то свое, тоже очень напевное и музыкальное»; «<…> Есенин слушал стихи поэтов Востока очень внимательно и напряженно, он весь подался вперед и вслушивался в чужую гортанную речь, силясь словно воспринять ее внутренний ритм, смысл, музыку. Он расслабил галстук, распустил ворот сорочки, пот стекал по его лицу (было жарко, и мы выпили много чая), но он как будто не замечал этого, слушал, ничего не комментировал и не хвалил, был задумчив и молчалив. Казалось, он сопоставляет услышанное с чем-то и в нем идет невидимая работа; но, может быть, это только представилось мне?»[[32]](#endnote-30). Сравним: бакинский старик-антиквар (или букинист) «по просьбе Есенина читал нам на языке фарси стихи Фирдоуси и Саади»[[33]](#endnote-31). Насколько фонетический и интонационный строй «Персидских мотивов» коррелирует (и коррелирует ли вообще) с услышанным им на фарси – вопрос. Фонетическая специфика не могла не приманить Есенина. Даже в нехудожественных текстах европейцев иноязычное звучание – яркий мотив. Читаем у инженера из московских купцов Н. А. Варенцова: «Толпы людей с гортанными разговорами, криком, руганью, со смехом и пением дервишей, с криком верблюдов и ишаков, ржанье лошадей, скрип арб, звон колоколов, привешенных к шеям верблюдов…»[[34]](#endnote-32).

Есенин не «осартился», он держит дистанцию, что видно и в «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» (1924), и в «Никогда я не был на Босфоре…» (1924), и в «В Хороссане есть такие двери…» (1925), и в «Голубая родина Фирдуси…» (1925). Вместе с тем в его лирике нет негатива, что отличает его поэзию от, например, описаний Бухары ХIХ в. Варенцовым, где показан унылый, скучный старый город с его однообразными постройками, пустырями, разрушенными гробницами, нечистотами в арыках, с детьми в болячках, с женщинами в серых халатах и черных чадрах. Как писал Вольпин о Есенине, он был под впечатлением, но вечером заговорил «о березках, о своей рязанской глуши» [[35]](#endnote-33). Но и Ширяевец не «осартился». Его Туркестан − «край нелюбимый» (173). Если он любит Аму-Дарью, то потому, что она – «дочь снегов и ледников» (173). В неспешности его Востока есть мертвенность. Его Туркестан спит «царевной» (174), и в нем «уснуло всё от зноя» (173), пески «Спят, зацелованные зноем», сон пустыни «тяжел», верблюд «плетется сонно», небо «застыло» (168), тополя в «полусне» (174), «Листья в бессильи уснули. / Сонные-сонные, тёплые, зыбкие волны / весь мир укачали <…> / Смежают ресницы» (172). Там «скудно-желтые степи» и «истома смертная» деревьев (167), «нудный вой» и уродливые горбы верблюдов, «верблюжьи кости» и дырявый череп, «степь онемелая» (168). Он пишет: «Уносился я к Волге, певучей и гневной, / С Жигулями родными во сне говорил» (174); «Не раз тобой пленялся я, / Какой ты солнечный, красивый! / Но мудрость сонная твоя / Чужда душе вольнолюбивой» (174). В не вошедшем в сборники Ширяевца стихотворении 1920 г. есть строки: «Мои стихи певучей изразцов / Мечетей Самарканда, но зачах я / В лучах чужих!.. – Страна моих отцов, / Несусь к тебе на песенных ладьях я!.. <…> / Я у разливов Волги хмельно-синих!..» (215).

Есенин с почтением относился к В. В. Розанову. Не знаем, был ли он знаком с его статьей «Мусульманский мир» (1901) – отзывом на книгу В. Червинского «Мир ислама и его пробуждение» (1901). Розанов писал о поверхностном знакомстве русских с мусульманской культурой, тем более он не принял иронического тона Червинского: «<…> говоря о Каабе и в ней о *черном камне*, он замечает, что с достоверностью ученые знают только одно, что это – метеорит, но что “более подробные сведения о нем пока приходится отложить до того времени, когда свет просвещения допустит физиков и химиков войти в святилище мусульман”. Этот слог, и мысль, и предположение открывают в авторе русского прогрессиста, для которого все в мире погибнет, кроме русского (особенно характерного) прогресса»[[36]](#endnote-34). Мог ли быть знаком Есенин со второй главой «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за 1881 г., где говорится о том, что русская Азия в сознании русских до победы Скобелева при Геок-Тепе была неким привеском, а желание русских доказать Европе свое европейство – лакейского свойства, и в будущей судьбе империи Азия сыграет чуть ли не решающую роль? Но ясно, что в есенинском восприятии Востока национальный снобизм исключается. Мусульмане, буддисты, язычники для него не просто экзотика, а источник эмоций и познания. Этим его поэзия в целом отвечает евразийским настроениям русских поэтов. Впрочем, и интересу европейских поэтов к Востоку («Строфу Саади иль Омара Хаияма / Нашептывая в полусне» А. де Ренье в переводе Б. К. Лившица; «Мне б увидеть Дамаск и персидские города», «Мне б увидеть Иран, Индостан, а затем и Китай, эти страны чудес»[[37]](#endnote-35) Т. Клингсора а переводе В. В. Рогова). Отзвук есенинского понимания Туркестана как особой поэтики, новых для европейского глаза и слуха образов мы слышим в книге С. Д. Кржижановского «Салыр-Гюль. Узбекистанские импрессии» (1933), созданной вслед за его поездкой в Узбекистан в 1932 г. В ней этнографические зарисовки сочетаются с лирико-философскими «импрессиями» и размышлениями о восточной мифопоэтике, сказавшейся в самом названии. Салыр-гюль – созданная в воображении и воплощенная в ковровом рисунке роза Салыра. Своеобычен язык Кржижановского, как своеобычен узор ковра под подошвой посетителя чайханы. Поэтизируется и еда (глава «Путеводитель по нёбу»), и закрывающий женское лицо чучван, и древности, и музыка, и базарный аукцион, и восточная словесность. Его Узбекистан – страна сказок и столь очевидных в «Персидских мотивах» созерцаний.

Азия в произведениях Есенина еще и спасительное пространство. Как Египет в январском 1923 г. сне Клюева: в Питере «пушки ухают», а в «неприкосновенном» Египте «вольно»[[38]](#endnote-36). В «Стране негодяев» (1922 – 1923) люди с голоду бегут в Сибирь и Туркестан, что созвучно с темой А. С. Неверова («Ташкент – город хлебный», 1923). Спасителен и промышленный Восток. 20 сентября 1924 г. Есенин приехал в Баку, где написал «Балладу о двадцати шести». Помимо поэтизации природы в ней есть поэтизация социалистического строительства. Шаумян говорит Джапаридзе: «У рабочих хлеб. / Нефть – как черная / Кровь земли. / Паровозы кругом… / Корабли, / В поезда / Вбита красная наша / Звезда» [II, 119]. Об обновлении Востока писал и Ширяевец: «<…> Зажгись и напиши / Иной Коран – не жуткий, не суровый, / Как ныне пьян от крепкой анаши, / Будь пьян от сказки радужной и новой» (166); «Но все равно, не долго в грёзах / Им забываться, и свистки / Шальных, крикливых паровозов / Разбудят мёртвые пески…» (168). Тема Васильева – промышленное и совхозное строительство российской восточной ойкумены, что сближает его лирику с платоновским сюжетом о народе джан. В лирике Васильева на окраинах Арала − традиционный казахский колорит, но у моря появились рабочие городки, конторы, склады, вышки, стройки – все, что делает реальным контрольный план («Арал», 1930); якутские становища включены в государственную добычу золота («В золотой разведке», 1929 – 1930); часты такие мотивы: «Мы построили дорогу к Семиге / На пастбищах казахских табунов» (23), «К юрте от юрты, от базара к базару <…> / Строительства нашего встанут огни!» (29), «Так ждет и готовится степь к перемене» (30), «Вздымается дамб крутое литье, / И взята Кульджа в бетон» (231), «В последний раз над головой подъят / Широкий бубен старого шамана!» (286), «Трубит весна над гулкой магистралью, / И в горизонты сомкнут Туркестан» (331), «Загудевшие рельсы / летят в Алма-Ата!» (334) и т.д. Выход поэтов за пределы эстетических и эмоциональных восприятий Востока − не дань социализации литературы, но искреннее проявление творческой воли. Как Есенин писал в «Персидских мотивах», поэт – не канарейка: «Канарейка с голоса чужого − / Жалкая, смешная побрякушка. / Миру нужно песенное слов / Петь по-свойски, даже как лягушка» [I, 267]. Воспевание («даже как лягушка») соцстроительства обогатило евразийскую линию в литературе тех лет.

3 июня 1921 г. Есенин выехал из Туркестана в Москву, во время поездки работал над третьей и четвертой главами «Пугачёва» (1921), приступил к пятой. Слова об Азии прозвучали в третьей, четвертой, восьмой главах. Восточный этнос в содержании «Пугачёва» занимает значительное место, а его поэтизация отвечает «скифской» идее, что скорее всего и имел в виду Клюев, когда писал Есенину 28 января 1922 г.: «“Пугачёв” – свист калмыцкой стрелы, без истории, без языка и быта <…>»[[39]](#endnote-37). В словаре «скифов» стрела − символ воли (предисловие к первому сборнику «Скифов», 1917). Есенин «по-скифски» понимал революцию – как состоявшуюся и не оправдавшую его надежд, так и возможную будущую. «Скифской» же идеей объясняется ментальное родство Пугачёва и восставших степняков. И Азия для Пугачёва – спасительный мир: после поражения он предполагает уйти через Каспий к «кочующим станам» (III, 41) и подготовить новое наступение («Чтоб разящими волнами их сверкающих скул / Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана» [III, 46][[40]](#endnote-38)). Таким образом, Есенин пишет не просто о бегстве, а о стратегии, подготовке плацдарма к новому наступлению. Этой мотивировки нет в пушкинской «Истории Пугачёва» (1833), где предполагаемое бегство показано только как бегство, потому башкиры роптали («“Ты взбунтовал нас, − говорили они, − и хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как казнили отцов наших”»)[[41]](#endnote-39).

Если при сходстве сюжетных и психологических мотивов понимание личности Пугачёва в поэме отлично от взгляда на него А. С. Пушкина, то отношение поэтов к восточным этносам, участвовавшим в восстании, в целом сходно. Пугачёв в поэме поднимает на бунт «монгольскую рать», «калмыка и башкирца» (III, 27), в его войске слышна «гортанная речь татар» (III, 38); Пушкин писал о существенной восточной силе в восстании («служивые калмыки бежали с форпостов», «башкирцы, взволнованные своими старшинами <…> начали нападать на русские селения и кучами присоединяться к войску бунтовщиков», «скоплялось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков», «корм и лошадей доставляли от башкирцев», «возмущение башкирцев, калмыков и других народов, рассеянных по тамошнему краю, повсюду пресекало сообщение», «толпа башкирцев, предводимых свирепым Салаватом»[[42]](#endnote-40)). Как Пушкин, Есенин придает особый исторический статус бегству калмыков «в свою Монголию» [III, 13] от произвола чиновничества, чтоб «предаться» [III, 14] Китаю, и отказу казаков преследовать их. Есенин показывает это событие не только как акт неповиновения, но и как пример для подражания. Поэтическое евразийство Есенина выразилось в подборе событий. Пушкин излагает факты, не отвечающие романтизации «дикаря» (ворующие и разгромленные Суворовом киргизы; среди казненных Пугачёвым противников – татарин, киргиз, калмыцкий полковник; пленившие Хлопушу татары; обласканный Михельсоном пленный башкир; выступившие против Пугачёвае пятьсот калмыков и др.). В поэме Есенина слова Чумакова о сбежавших к Аральску калмыках и башкирах скорее не имеют негативной коннотации и отражают факт победы Михельсона, а смысл слов о бегущих степняках, об их грабежах в пограничной России смягчен тем, что их произносит изменник Крямин.

В поэме значительна тема этнической психологии. Она соотносится и с понятием «дух народа», «душа народа» (Г. Г. Шпет. «Введение в этническую психологию», 1927), и с объяснением этнологами ментальности ландшафтом (Л. Н. Гумилёв. «Этногенез и биосфера Земли», 1984). Характер азиатов Пугачёв объясняет так: «Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо / Скачут там шерстожелтые горные реки! / Не с того ли так свищут монгольские орды / Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?» [III, 46]. Чаган в поэме – «приют дикарей» [III, 7]. Пугачев и о себе говорит: «И сердцем такой же степной дикарь!» [III, 21]. Лексема «дикарь» семантически близка качествам, отмеченным Хлопушей: «буйство и удаль» [III, 29]. В словах Зарубина «не березовая ль то Монголия? / Не кибитки ль киргиз – стога?.. » [III, 34] выразилась, на наш взгляд, мысль об этническом симбиозе в пассионарные моменты истории. Есенин акцентирует внимание на совместимости самостоятельных этносов (русских, монголоязычных калмыков, тюркоязычных башкир и татар, а также степных киргизов или киргиз-кайсаков), что актуализируется в этнологии (например, Гумилёв – сторонник русско-тюркско-монгольского братства).

У Есенина особое отношение к степнякам, отличное от его современников, переживших революцию. В понимании Бунина восставший в 1917 г. русский народ – тот же киргиз. Он записывает в дневнике 2/15 апреля 1921 г.«“Полудикие народы… их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость…” (“Капитанская Дочка” ). Это чудесное определение очень подходит ко в с е м у русскому народу»[[43]](#endnote-41). В «Капитанской дочке» эта мысль не имеет никакого отношения к русским, Пушкин писал о непривыкших к гражданской жизни, к законам российских восточных этносов. Но для Бунина и «скиф» − «киргиз», «рожа»[[44]](#endnote-42). По Есенину, В. В. Иванов описал «необычайную дикую красоту Монголии» («<О писателях-“попутчиках”>», 1924. [V, 244]). И все же у Иванова «Монголия – зверь дикий и нерадостный», «у человека монгольского сердце неизвестно какое»; не менее дикие и партизаны: они убили киргизского младенца, они «седлали лошадей и ловили в степи киргизок»[[45]](#endnote-43) («Дитё», 1921). Отметим сходство этого мотива с описанием нравов казаков в «Соляном бунте» (1932 – 1933) Васильева: «И когда не хватало станичникам жён привозных, / Снаряжались в аулы, чинили резню, табуны угоняли, / Волокли полонянок скуластых за косы по травам / И, бросая в седло, увозили к себе на тыны, / Там, в постелях пуховых, с дикарками тешились вволю» (123). У Б. А. Лавренёва Туркестан – «смутная азийская страна»: там живут «сухогубые туркменские жены», в «Кара-Кумах» нечего «жрать», «один конец – подыхать!» («Сорок первый», 1924)[[46]](#endnote-44). Чагатаев А. П. Платонова идет по своей «детской стране» как «по чужому миру»[[47]](#endnote-45) («Джан», 1938). Вместе с тем Есенина и Платонова сближает желание понять туркестанскую ментальность. В десятой записной книжке (1934) Платонова сказано и о «пустыне – матери скудной и худой», и о душе Туркмении – она «столь же свежа и хороша, как античное лицо ее людей, потомков парфян»[[48]](#endnote-46). Васильев знал жизнь Сибири, Казахстана, он, как Есенин, был и в Ташкенте, и в Самарканде, и в Батуми, Российский Восток – одна из главных тем его поэзии и прозы. Отношение Васильева к «инородцам» близко есенинскому и отличалось от чувства национального превосходства казаков. Этнический симбиоз очевиден в его личном пространстве, но не историческом. Если в «Песне о гибели казачьего войска» (1929 – 1930) национальный снобизм лишь обозначен: «Одолеет кыргизня, / Только дай ей волю» (61), «Ты скажи-ка, паря мне, по какому праву / Окаянно кыргизьё косит наши травы?» (70), то в «Соляном бунте» показан кровавый конфликт казаков и киргизов.

Итак, есенинское евразийство, при явном созвучии с восточными интенциями ряда писателей, все же своеобразно. В нем нет заданности на геополитическую или иную идею, на Востоке он не ищет ключей к пониманию русского характера, в азиатском пространстве он только добросердечный наблюдатель.

1. Примечания

   *Есенин С*. Пол. собр. соч. / Ин-т мировой лит. РАН / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев. Ред коллегия: Л. Д. Громова, Н. В. Есенина, С. П. Есенина, С. П. Кошечкин, Ф. Ф. Кузнецов, Г. И. Ломидзе, Л. А. Озеров, Н. Н. Скатов, В. В. Сорокин. Т. 1 / Сост. и коммент. А. А. Козловского, науч. ред. А.М. Ушаков. М.: Наука; Голос. 1995. [↑](#endnote-ref-1)
2. *Ширяевец А.* Песни волжского соловья / Предисл. С. И. Субботина, вступ. ст. Е. Г. Койновой, сост. Е. Г. Койновой, подгот. Текстов С. И. Субботина, Е. Г. Койновой. Тольятти: Фонд «Духовное наследие», 2007. Здесь и далее номера страниц указаны в скобках. [↑](#endnote-ref-2)
3. Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7 / Общ. ред. В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского; подгот. Текста, примеч. В. Орлова. М. – Л.: Худож. лит., 1963. С. 317. [↑](#endnote-ref-3)
4. *Есенин С*. *А.* Пол. собр. соч. / Ин-т мировой лит. РАН / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев. Т. 6 / Сост. и общ. ред. С. И. Субботина; подгот.текстов, текст. коммент. Е. А. Самоделовой, С. И. Субботина; реальный коммент. А. Н. Захарова, С. П. Кошечкина, С. С. Куняева, Г. Маквея, Ю. А. Паркаева , Ю. Л. Прокушева, Т. К. Савченко, М. В. Скороходова, С. И. Субботина, Н. И. Шубниковой-Гусевой, Н. Г.Юсова; сост. указат. Е. А. Самоделовой, М. В. Скороходова; науч. ред. Л. Д. Громова, Ю. П. Прокушев. М.: Наука; Голос. 1999. [↑](#endnote-ref-4)
5. *Кусиков А.* «Только раз ведь живем мы, только раз…: Памяти Есенина» // Русское зарубежье о Есенине: В 2 т. Т.1 / Вступ. ст., сост., коммент. Н. И. Шубниковой-Гусевой. М.: Инком, 1993. С. 172. [↑](#endnote-ref-5)
6. *Савченко Т. К.* Сергей Есенин и Александр Кусиков // Русский имажинизм: история, теория, практика / Под ред. В. А. Дроздкова, А. Н. Захарова, Т. К. Савченко. М.: ЛИНОР, 2003. С. 202 –213. [↑](#endnote-ref-6)
7. *Маквей Г.* Пень и конь: Поэзия Александра Кусикова // Там же. С. 174. [↑](#endnote-ref-7)
8. Здесь и далее тексты А. Кусикова цит. по: Поэты-имажинисты. Б.с. «Библиотеки поэта». Изд. 3-е / Сост., биограф. заметки, примеч. Э.М. Шнейдермана. СПб.: Пб. писатель; М.: Аграф, 1997. Номера страниц указаны в скобках. [↑](#endnote-ref-8)
9. *Есенин С*. Пол. собр. соч. / Ин-т мировой лит. РАН / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев. Т. 4 / Сост, подгот. текста, коммент. С. П. Кошечкина, Н. Г. Юсова; науч. ред. Л. Д. Громова. М.: Наука; Голос. 1996. [↑](#endnote-ref-9)
10. *Есенин С*. Пол. собр. соч. / Ин-т мировой лит. РАН / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев. Т. 2 / Подгот. текста и коммент. С. И. Субботина; науч. ред. Ю. Л. Прокушев. М.: Наука; Голос. 1997. [↑](#endnote-ref-10)
11. *Штейнман М. А.* Восток и Запад: На перекрестке культур. Феномен поэзии А. Кусикова // Русский имажинизм: история, теория, практика. С. 214. [↑](#endnote-ref-11)
12. *Маквей Г.* Пень и конь: Поэзия Александра Кусикова. С. 174. [↑](#endnote-ref-12)
13. \* Нет Бога, кроме Бога. [↑](#footnote-ref-1)
14. *Львов-Рогачевский В.* Имажинизм и его образоносцы: Есенин, Кусиков, Мариенгоф, Шершеневич. М.: Орднас, 1921. С. 61. [↑](#endnote-ref-13)
15. *Тартаковский П. И.* Свет вечерний шафранного края…: (Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина). Ташкент: Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1981. С. 51. [↑](#endnote-ref-14)
16. *Вольпин В. И.* О Сергее Есенине // / С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1 / Вступ. ст., сост., коммент. А. А. Козловского. М.: Худож. лит., 1986. С. 425. [↑](#endnote-ref-15)
17. *Тартаковский П. И.* Свет вечерний шафранного края… (Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина). С. 79. [↑](#endnote-ref-16)
18. *Белоусов В.* «Персидские мотивы». М.: Знание, 1968. С. 16. [↑](#endnote-ref-17)
19. *Вольпин В. И.* О Сергее Есенине. С. 424. [↑](#endnote-ref-18)
20. Там же. [↑](#endnote-ref-19)
21. *Раскольников Ф.* Сергей Есенин / Журналист. 1993. № 2. С. 48. Цит. по: Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 т. Т. 3. Кн.1 / Сост. В .А. Дроздков, А. Н. Захаров; сост. указ. В. А. Дроздков, Н. В. Михайленко, М. В. Скороходов; Т. К. Савченко, М. В. Скороходов, Н. М. Солобай, С. И. Субботин, Н. И. Шубникова-Гусева, Н. Г. Юсов; отв. ред. С. И. Субботин; науч. ред. Н. И. Шубникова-Гусева. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 111. [↑](#endnote-ref-20)
22. *Мануйлов В. А.* О Сергее Есенине // С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 178–179. [↑](#endnote-ref-21)
23. *Вольпин В. И.* О Сергее Есенине. С. 424. [↑](#endnote-ref-22)
24. *Тартаковский П.И.* Свет вечерний шафранного края… (Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина). С. 84. [↑](#endnote-ref-23)
25. *Мануйлов В. А.* О Сергее Есенине. С. 179. [↑](#endnote-ref-24)
26. *Тартаковский П. И.* Свет вечерний шафранного края… (Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина). С. 78 – 79. [↑](#endnote-ref-25)
27. *Вольпин В. И.* О Сергее Есенине С. 424. [↑](#endnote-ref-26)
28. \* Жена Тимура Биби-ханум приказывает возвести мечеть к возвращению императора из военного похода. Влюбленный в нее зодчий соглашается построить мечеть вовремя за поцелуй Биби-ханум. Возвратившийся из похода Тимур лишен покоя – он видит след от поцелуя на щеке Биби-ханум. Но зодчий скрывается на минарете своей мечети, а его ученик сообщает преследователям, что учитель сделал крылья и улетел в Мешхед. [↑](#footnote-ref-2)
29. *Тартаковский П. И.* Свет вечерний шафранного края… (Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина). С. 121 − 122. [↑](#endnote-ref-27)
30. *Мануйлов В. А.* О Сергее Есенине. С.178 – 179. [↑](#endnote-ref-28)
31. *Вольпин В. И.* О Сергее Есенине. С. 425. [↑](#endnote-ref-29)
32. *Тартаковский П. И.* Свет вечерний шафранного края… (Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина). С. 84-85. [↑](#endnote-ref-30)
33. *Мануйлов В. А.* О Сергее Есенине. С. 179. [↑](#endnote-ref-31)
34. *Варенцов Н. А.* Слышанное. Передуманное. Пережитое. http://rus-turk.livejournal.com/207353.html. [↑](#endnote-ref-32)
35. *Вольпин В. И.* О Сергее Есенине. С. 424. [↑](#endnote-ref-33)
36. *Розанов В.* *В.* Собр. соч. Во дворе язычников / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1999. С. 163 – 164. [↑](#endnote-ref-34)
37. Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / Под ред. Г.К. Косикова. М.:Изд-во Московского ун-та, 1993. С. 204, 246. [↑](#endnote-ref-35)
38. *Клюев Н.* Словесное древо / Вступ. ст. А. И. Михайлова; сост., примеч. В. П. Гарнина. СПб.: Росток, 2003. С. 86. [↑](#endnote-ref-36)
39. Там же. С. 254. [↑](#endnote-ref-37)
40. *Есенин С.* Полное собрание сочинений: В 7 т. (9 кн.). Т. 3 / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев; сост., подгот. текстов Н. И. Шубниковой-Гусевой; коммент. Е. А. Самоделовой, Н. И. Шубниковой-Гусевой; науч. ред. Л. Д. Громова, С. П. Кошечкин. М.: Наука – Голос, 1998. [↑](#endnote-ref-38)
41. *Пушкин А .С.* История Пугачёва / *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 7 / Под общ. ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана. М.: Гослитиздат, 1962. С. 57. [↑](#endnote-ref-39)
42. Там же. С. 29, 34, 50,71. [↑](#endnote-ref-40)
43. *Бунин И. А.* Собр.соч.: В 8 т. Т. 7 / Сост., коммент. А.К. Бабореко. М.: Моск.рабочий, 2000. С. 397. [↑](#endnote-ref-41)
44. *Бунин И.А.* Собр.соч. Т. 8. C. 420, 425. [↑](#endnote-ref-42)
45. Русская новеллистика советской эпохи / Сост. М. Варга, Н. Секей, М. Тетени. Budapest: Tankӧnyvkiadó, 1977. С. 245. [↑](#endnote-ref-43)
46. Там же. С. 290, 280. [↑](#endnote-ref-44)
47. *Платонов А.* Государственный житель / Сост. М.А. Платонова, вступ. ст., коммент. В.А. Чалмаева. М.: Советский писатель, 1988. С. 398, 391. [↑](#endnote-ref-45)
48. *Платонов А.* Записные книжки. Материалы к биографии / Публ. М.А. Платоновой; сост., подгот.текста, предисл., примеч. Н.В. Корниенко. М.: Наследие, 2000. С. 132, 128. [↑](#endnote-ref-46)